



Литературные странички

ФРАНСУАЗА САГАН обожает писать романы, читатели обожают читать их. Даже при заметном улучшении ситуации на нашем книжном рынке произведений писательницы не достать ни в магазинах, ни в библиотеках. Столь же популярна она и у себя на родине, во Франции. Каждый ее роман, начиная с первого «Здравствуй, грусть!», принесшего 17-летней автору громкую славу, становится событием в литературной жизни. Однако, как считают знатоки, истинные возможности Саган пока далеко не раскрыты и, возможно, подлинный шедевр писательницы еще ждет нас впереди. А пока мы предлагаем читателям отрывок из ее нового романа «Рыбья кровь», любезно предоставленный нам журналом «Иностранная литература» (где роман будет публиковаться полностью), и интервью, которое писательница дала собственному корреспонденту «Известий» в Париже Юрию Коваленко.

Перевод Ирины ВОЛЕВИЧ.

Здравствуйте,

Мартель - Кювье - Сифу (1915) - 22-23

Вы написали около двадцати романов и семь пьес, но именно ваша первая книга «Здравствуй, грусть!» стала литературной и общественной сенсацией. Вам было тогда 17 лет. Этому роману, который многие критики считают вашим лучшим произведением, была посвящена и статья Франсуа Миттерана, опубликованная на первой полосе газеты «Фигаро». «Здравствуй, грусть!» была издана тиражом более 4 миллионов экземпляров на 23 языках...

Шума, действительно, моя книга наделала много. Я, конечно, была чрезвычайно взволнована, хотя и понимала, что не сотворила шедевра. Успех для начинающего писателя важен, и поскольку он пришел сразу, мне не надо было больше думать о том, как его завоевывать. Это дало мне возможность не иметь на сей счет никаких комплексов.

Однажды на вопрос, почему вы пишете романы, вы ответили: «Потому что обожаю это занятие!» Но, наверное, есть и другие причины?

Нет, именно поэтому. Я сочиняю книги, потому что ничего другого делать не умею, пишу, чтобы заработать себе на жизнь. Обычно работаю ночью, когда вокруг меня полная тишина.

В ваших книгах всегда много говорится о деньгах...

— Это хороший слуга, но плохой хозяин. Для меня они — средство, но не цель.

— Вам пишется легко?

— Когда я начинаю книгу, то первые страницы даются с трудом. Хожу кругами, жду, переживаю, нервничаю. И кажется, что у меня уже нет таланта, я не знаю, о чем писать. И потом вдруг все встает на свои места. Когда войду в ритм, то пишу быстро.

— Похожи ли вы — как считают некоторые критики — на героев своих книг?

ХОТЯ АПРЕЛЬ только-только вступил в свои права, Берлин нынче купался в теплом полуденном солнечном воздухе преждевременно нагретого лета, достаточно, впрочем, мягкого, чтобы город продолжал жить в обычном ритме: на улицах по-прежнему царил лихорадочное напряжение, похоже, никак не зависевшее от времени года.

Сидя за рулем великолепного черного «дуйзенберга» с откидным верхом (подарок Геббельса по случаю возвращения в Германию, за который нужно будет позже поблагодарить), Константин фон Мекк ехал по улицам города и невольно улыбаясь, уж больно опереточный вид был у этого герцога воинственного Берлина. Пятнадцать лет режиссерской работы в Голливуде сразу позволили ему подметить некоторый перебор в декорациях и постановке спектакля третьего рейха: слишком много солдат, слишком много знамен, слишком много приветствий! А какое изобилие свастик, монументов и воинственного пыла! Константин посмеивался над всей этой безвкусицей.

Только нынче утром прибывший самолетом на аэродром Темпельхоф, еще огуленный Грейшей, ее неустойчивым солнцем, Константин чувствовал себя счастливым, измотанным и довольным, несмотря на газетные статьи, комментировавшие его отъезд из Штатов: он прочел их лишь теперь, погода спуста, ибо не успел он ступить на землю Германии, как УФА тут же отправил его в Грецию, на остров Гидра, подальше от всякой цивилизации, писать сценарий «Медведя» и снимать по нему фильм — великолепный, потрясающий фильм, который он сам же потом смонтировал в Афинах, и фильм с триумфом прошел по всей Европе, прежде чем удостоился успеха в Америке. Константин ощущал радостный подъем, несмотря на смутное впечатление экзотичности, возникавшее у него при виде любой иностранной столицы, хотя какая же она иностранная — он находился на родине, среди соотечественников, говоривших на языке его детства, и сердился на себя за это неосознанное снисходительное любопытство туриста, куда более сильное, чем в Париже или в Нью-Йорке. Но если забыть об этих патристических изысках, такой Берлин был гораздо более приемлем для Константина, чем тот, который он видел здесь в своей предыдущий короткий приезд: нищих людей тогда, в 1921 году, уныло бродивших среди развалин, сменила солидная, хорошо одетая толпа, возбужденно — на взгляд Константина, слишком возбужденно — спешившая куда-то по улицам. Казалось, в Берлине больше нет места лениво фланирующим зевакам, женщинам, любующимся заманчивыми витринами. Эта толпа состояла словно бы из одних солдат и офицеров да их матерей, жен и отпрысков.

Разумеется, Германия воевала или собиралась воевать, но демонстрировала это чересчур явно — во всем, вплоть до отеля, где он остановился, старинного отеля «Кампески»: горничные, вместо того чтобы приветливо поболтать с постояльцем, как во всех гостиницах мира, или восхищенными (в данном случае вполне уместными) возгласами оценить его роскошный гардероб, молча, безо всяких комментариев развели его костюмы в шкаф, будто расторопные и покорные денщики. О нет, невеселая это была страна — воюющая Германия! Ну да ладно! В конце концов, он же не развлекается сюда приехал... Но вот только что, когда Константин направился к министерству информации и приоткрыл на перекрестке, какая-то женщина, увидев в открытой машине рыжего великана, взглянула в его зеленые глаза и вдруг невольно отвестила ему улыбку на улыбку, чем и вернула Константину фон Мекку вкус к жизни и патристическую гордость.

Конечно, но только не знаю, в чем... Мои книги — это истории, в которых нет никакого зашифрованного «послания», «двойного дна». Еще Марсель Пруст говорил, что роман с таким «посланием» подобен подарку, с которого не сняли этикетку с ценной.

С незапамятных времен начались споры о роли писателя в жизни общества, которые продолжают и нынче. Как вы ее себе представляете?

Об этом опять-таки хорошо сказал Марсель Пруст: писатель — оптический прибор, благодаря которому читатель начинает постигать некоторые недоступные ему ранее истины. Зачастую сам сочинитель открывает их для себя в момент творчества. Но чтобы познать эти истины, надо уметь смотреть на мир окружающий. И человек широких взглядов, не лишенный воображения и чуткости, не может не видеть того, что происходит на земле. Он не может не замечать, что три четверти жителей нашей планеты испытывают страдания — телесные и душевные. А осознав, писатель не может на это не реагировать.

...Сделаем небольшое отступление. В 1980 году Франсуаза Саган написала открытое письмо Жан-Полу Сартру, который тогда был «властителем дум» молодежи. Его опубликовал журнал «Эгоист». Это не только признание в любви великому мыслителю, но и изложение взглядов Ф. Саган на то, какой должна быть роль писателя: «Вы написали самые умные и честные книги вашего поколения... И при этом всегда бросались вперед на защиту слабых, униженных... Вы были в равной степени человеком и писателем. Вы предоставляли свой талант в распоряжение жертв, настоящих жертв, тех, кто не умеет ни писать, ни выражать свои мысли, ни бороться

В противоположность тому, что пишут некоторые газеты, нет таких денег, которыми можно было бы вознаградить вас за это, к тому же ни один банкир не способен создать «Медведя». Вы удостоились большого и вполне заслуженного успеха. Этот фильм произвел на меня впечатление черно-красного, господин фон Мекк, хотя снимался как черно-белый. Это великолепный фильм.

Константин признательно улыбнулся: своим комплиментом Геббельс верно оценил его замыслы.

— Благодарю вас, — сказал он, — теперь я хотел бы снять фильм «Дилл» в черно-золотой гамме, если мне это удастся.

— Ну ладно, посмотрим. «Медведь» выйдет в Штатах весной через два... Может, я пока продусь, погляжу на родные места. В конце концов, я заслужил небольшой отпуск...

Геббельс медленно закурил, пристально глядя на Константина.

— Вам нужен вовсе не отпуск, господин фон Мекк. Представьте себе, я знаю, зачем вы сюда приехали.

И, смеив сухой тон на дружеский, Геббельс продолжил: — Господин фон Мекк, неужто вы не понимаете, что я наводил справки о вас с тех пор, как все газеты мира стали писать о вас на первой полосе? Неужто не понимаете, что и я спрашивал

вашего отсутствия все ваши товарищи погибли на фронте. Конечно, кое-кто был старше годами, но большинство — ваши ровесники, и ни один из них не захотел влечь жалкую жизнь побежденного. Вы поняли, господин фон Мекк, что из всего класса в живых остался вы один, если не считать некоего молодого человека — офицера с ампутированной ногой. Ибо вы ведь учились в знаменитой кадетской школе, не так ли, господин фон Мекк?

— Да, правда, — ответил Константин. Он стал шарить по карманам в поисках сигарет, долго долго вынимал и раскуривал ее, не поднимая глаз. Геббельс наблюдал за ним с нескрываемым удовольствием и, когда Константину удалось наконец закурить, продолжил ледяным тоном: — И этот офицер без ноги, ваш бывший соученик, называл вас трусом в эссенском кафе, при всем честном народе; он даже вызвал вас на дуэль. Вот тогда-то вы и поучествовали себя виноватым; в этот день вам стало ясно, что вы в долгу перед Германией, в настоящем долгу, ибо подобное оскорбление в тогданнем вашем возрасте — сознательное или несознательное, это уж другое дело, — не забывается. Я не ошибаюсь?

Константин курил, выпуская густые клубы дыма и по-прежнему не поднимая глаз. — Как вы узнали об этой истории? — спросил он трагически надломленным голосом, смутившим его самого.

— От одного из ваших преподавателей — он был свидетелем этой сцены. И потом, я всегда знаю все, господин фон Мекк, знаю из принципа, понимаете? Это мой принцип!

Константин вскинул глаза: Геббельс больше не улыбался.

— Все, что вы рассказали, чистая правда, господин министр, — признался он. — Я храню в памяти это происшествие, и оно толкает меня на странные поступки...

— Поздравляю вас с одним из таких поступков! — перебил его Геббельс пронзительным голосом — голосом оратора, совершенно неожиданным для такого худосочного дерганого недомерка. — Ибо они делают честь и вам, и всей Германии в целом!

Константин облебенно вздохнул: слава Богу, с 1921 года ему впервые напоминали об этом унижении — случае, конечно, неприятном, но вообще-то давним-давно позабытом. Разумеется, какое-то время его совесть терзало воспоминание о классной фотографии 1912 года, где были сняты Константин и его двенадцатилетние сверстники, чьи лица потом перечеркнули траурные кресты — все, кроме двух, его собственного и того обидчика, — но потом этот инцидент, как и прочие грустные события, улетучился из памяти: в конце концов он всего-навсего пренебрежимым средневекowym предрасудком, именуемым «долгом перед родиной», зато с тех пор множество раз имел возможность доказать, что он отнюдь не трус. Но тот факт, что Геббельс приписывал его возвращение значительности школьного воспоминания 1921 года, а не значительности гонора УФА в 1937 году, вполне устраивал Константина. До чего же все-таки

Константин молча кивнул.

— Вы не знали, что Германия обескровлена, что у нее не осталось больше солдат, что курсанты офицерских училищ от пятнадцати до семнадцати лет все поголовно мобилизованы и посланы на фронт...

Константин фон Мекк опустил голову, теперь он очень внимательно разглядывал свои руки.

— Да, — ответил он, — этого я не знал.

— В результате, когда в 1921 году вы вернулись в Германию, господин фон Мекк, и вам пришла в голову мысль навестить в свою старую школу в Эссене, вы обнаружили, что за время

— Я полагаю, что УФА строит относительно вас иные планы, — заметил Геббельс.

Константин выпрямился в своем кресле.

— Я и слышать не желаю об этих планах. УФА хочет заставить меня снимать «Еврейку», а это антисемитский фильм.

— Ну и что? — бросил Геббельс.

— А то, что это противно моим чувствам, — с улыбочкой объяснил Константин. — И поверьте мне, здесь любые деньги окажутся бессильными: не найдется в мире такого богача, который заставил бы меня изменить моим убеждениям.

Наступило короткое молчание.

— Вам не следовало бы излагать свои мысли... таким образом, — мягко заметил Геббельс. — Еще передо мной, пожалуй... Но только не публично. И, уж конечно, не перед полицией.

— Меня не испугаешь даже самым ужаснейшим орудием пытки, — возразил Константин, иронически подчеркнув слово «ужаснейшее», чтобы лишить свою фразу всякого мелодраматического оттенка. — Я не стану снимать «Еврейку», уж лучше вернуться в Америку.

Вот где был его главный козырь, и Константин понимал это. Геббельс ни в коем случае не мог допустить, чтобы он уехал и нанес тем самым оскорбление третьему рейху. По крайней мере именно на это Константин и надеялся.

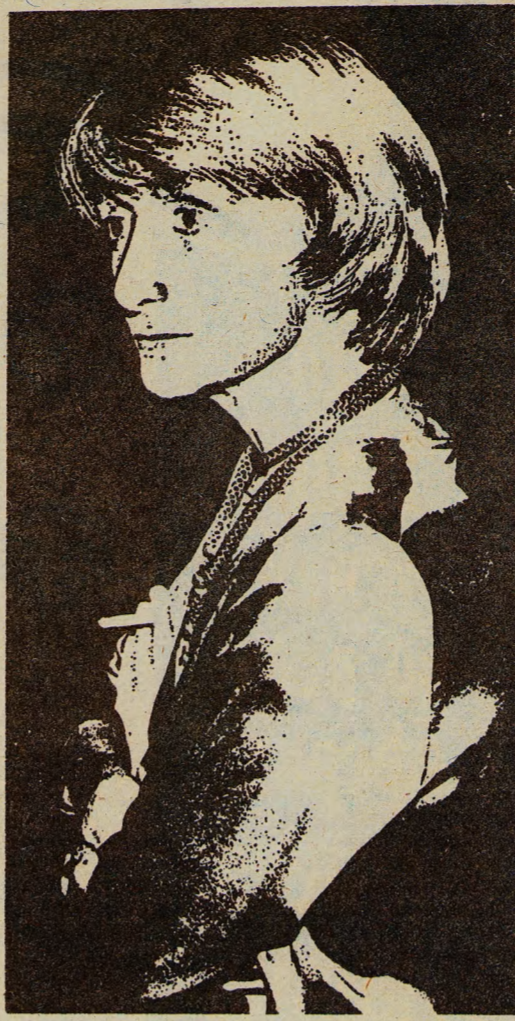
— Было бы жаль, — сказал Геббельс, умиrohюще подняв руку, — если бы вы вернулись в Америку до выхода там вашей «Медведя». Лучше вам явиться туда в разгар успеха, «со штином», так сказать. Вы согласны?

— Да, конечно, — ответил Константин.

Он сказал правду: ему хотелось вернуться в Голливуд только триумфатором.

— Да и для третьего рейха это было бы весьма одорчительно, — продолжал Геббельс. — Весьма! Ваш отъезд показал бы всему миру, что третий рейх — государство, где трудно или невозможно жить артисту, и не стану скрывать от вас, господин фон Мекк, это нанесло бы огромный урон нашей репутации.

Константин был поражен. Хитрый человек раскрывал перед ним карты, сам вкладывая ему в руки оружие против них. Этот Геббельс был предельно искренним. И напрасно он так волнуется по поводу моего намерения уехать, подумал Константин, никогда не придававший особого значения ни своей персоне, ни своей известности, ни впечатлению, которое могли бы произвести на публику его убеждения или поступки. Он ответил уклончиво:



Вот где был его главный козырь, и Константин понимал это. Геббельс ни в коем случае не мог допустить, чтобы он уехал и нанес тем самым оскорбление третьему рейху. По крайней мере именно на это Константин и надеялся.

— Было бы жаль, — сказал Геббельс, умиrohюще подняв руку, — если бы вы вернулись в Америку до выхода там вашей «Медведя». Лучше вам явиться туда в разгар успеха, «со штином», так сказать. Вы согласны?

— Да, конечно, — ответил Константин.

Он сказал правду: ему хотелось вернуться в Голливуд только триумфатором.

— Да и для третьего рейха это было бы весьма одорчительно, — продолжал Геббельс. — Весьма! Ваш отъезд показал бы всему миру, что третий рейх — государство, где трудно или невозможно жить артисту, и не стану скрывать от вас, господин фон Мекк, это нанесло бы огромный урон нашей репутации.

Константин был поражен. Хитрый человек раскрывал перед ним карты, сам вкладывая ему в руки оружие против них. Этот Геббельс был предельно искренним. И напрасно он так волнуется по поводу моего намерения уехать, подумал Константин, никогда не придававший особого значения ни своей персоне, ни своей известности, ни впечатлению, которое могли бы произвести на публику его убеждения или поступки. Он ответил уклончиво:

— Ну ладно, посмотрим. «Медведь» выйдет в Штатах весной через два... Может, я пока продусь, погляжу на родные места. В конце концов, я заслужил небольшой отпуск...

Геббельс медленно закурил, пристально глядя на Константина.

— Вам нужен вовсе не отпуск, господин фон Мекк. Представьте себе, я знаю, зачем вы сюда приехали.

И, смеив сухой тон на дружеский, Геббельс продолжил: — Господин фон Мекк, неужто вы не понимаете, что я наводил справки о вас с тех пор, как все газеты мира стали писать о вас на первой полосе? Неужто не понимаете, что и я спрашивал

вашего отсутствия все ваши товарищи погибли на фронте. Конечно, кое-кто был старше годами, но большинство — ваши ровесники, и ни один из них не захотел влечь жалкую жизнь побежденного. Вы поняли, господин фон Мекк, что из всего класса в живых остался вы один, если не считать некоего молодого человека — офицера с ампутированной ногой. Ибо вы ведь учились в знаменитой кадетской школе, не так ли, господин фон Мекк?

— Да, правда, — ответил Константин. Он стал шарить по карманам в поисках сигарет, долго долго вынимал и раскуривал ее, не поднимая глаз. Геббельс наблюдал за ним с нескрываемым удовольствием и, когда Константину удалось наконец закурить, продолжил ледяным тоном: — И этот офицер без ноги, ваш бывший соученик, называл вас трусом в эссенском кафе, при всем честном народе; он даже вызвал вас на дуэль. Вот тогда-то вы и поучествовали себя виноватым; в этот день вам стало ясно, что вы в долгу перед Германией, в настоящем долгу, ибо подобное оскорбление в тогданнем вашем возрасте — сознательное или несознательное, это уж другое дело, — не забывается. Я не ошибаюсь?

Константин курил, выпуская густые клубы дыма и по-прежнему не поднимая глаз. — Как вы узнали об этой истории? — спросил он трагически надломленным голосом, смутившим его самого.

— От одного из ваших преподавателей — он был свидетелем этой сцены. И потом, я всегда знаю все, господин фон Мекк, знаю из принципа, понимаете? Это мой принцип!

Константин вскинул глаза: Геббельс больше не улыбался.

— Все, что вы рассказали, чистая правда, господин министр, — признался он. — Я храню в памяти это происшествие, и оно толкает меня на странные поступки...

— Поздравляю вас с одним из таких поступков! — перебил его Геббельс пронзительным голосом — голосом оратора, совершенно неожиданным для такого худосочного дерганого недомерка. — Ибо они делают честь и вам, и всей Германии в целом!

Константин облебенно вздохнул: слава Богу, с 1921 года ему впервые напоминали об этом унижении — случае, конечно, неприятном, но вообще-то давним-давно позабытом. Разумеется, какое-то время его совесть терзало воспоминание о классной фотографии 1912 года, где были сняты Константин и его двенадцатилетние сверстники, чьи лица потом перечеркнули траурные кресты — все, кроме двух, его собственного и того обидчика, — но потом этот инцидент, как и прочие грустные события, улетучился из памяти: в конце концов он всего-навсого пренебрежимым средневекowym предрасудком, именуемым «долгом перед родиной», зато с тех пор множество раз имел возможность доказать, что он отнюдь не трус. Но тот факт, что Геббельс приписывал его возвращение значительности школьного воспоминания 1921 года, а не значительности гонора УФА в 1937 году, вполне устраивал Константина. До чего же все-таки

Константин молча кивнул.

— Вы не знали, что Германия обескровлена, что у нее не осталось больше солдат, что курсанты офицерских училищ от пятнадцати до семнадцати лет все поголовно мобилизованы и посланы на фронт...

Константин фон Мекк опустил голову, теперь он очень внимательно разглядывал свои руки.

— Да, — ответил он, — этого я не знал.

— В результате, когда в 1921 году вы вернулись в Германию, господин фон Мекк, и вам пришла в голову мысль навестить в свою старую школу в Эссене, вы обнаружили, что за время

— Я полагаю, что УФА строит относительно вас иные планы, — заметил Геббельс.

Константин выпрямился в своем кресле.

Франсуаза Саган!

ее в принадлежности к Национальному фронту освобождения Алжира.

Вместе с Сартром, Роб-Грием, Бретоном и другими писателями она подписала «Манифест 121-го». В нем содержалось требование дать право призывникам отказываться от службы в армии в годы алжирской войны.

Ф. Саган укрывала в своем доме алжирцев, которых разыскивала полиция, и чтобы они могли покинуть Францию, отвезла их на машине до границы.

Для этого нужно было иметь много мужества. Осовцы взорвали бомбой дверь ее квартиры на парижском бульваре Мальзерб.

«Это было чрезвычайно беспокойное время, — вспоминала писательница, — и порой неожиданные. Именно тогда я многое узнала о других людях и о себе самой».

Наша беседа возвращается к литературе. Сартр, Достоевский и Марсель Пруст — любимые писатели Ф. Саган. Она даже взяла себе в качестве псевдонима имя одного из действующих лиц знаменитого романа Пруста «В поисках утраченного времени» (ее настоящее имя Франсуаза Кварриез).

— Я люблю также Стендаля, Бальзака, некоторые книги Арагона, — говорит писательница. — Флобера считаю писателем для мужчин, и более скудной и неинтересной женщиной, чем госпожа Бовари, я не знаю. По крайней мере, в литературе. Наверное, ее достоинства способны оценить только сильные пол.

— А что вы думаете о современной французской литературе?

— На мой взгляд, чувствует она себя неважно. Крупных писателей мало, таких великих имен, как Сартр, Камю, Мальро, сейчас нет вообще. Хорошие романы мне давно не попадались, хотя, несомненно, есть таланты — напри-

мер, Маргарит Дюрас или молодой прозаик Франсуа-Оливье Руссо. Пока же я больше читаю американских и английских писателей. Думаю, что одна из причин такого положения в том, что во Франции трудно заниматься писательским трудом. Делают первые шаги в литературе не оказывают необходимой поддержки.

— Да и в издательствах мало людей, которые по-настоящему любят литературу и что-то могут решать. В их высокие кресла слишком много неведж. Правда, мне самой повезло — я попала к издателю, у которого одновременно были и средства, и талант.

— Некоторые ваши поступки удивляли публику: вы отказались войти в состав Гонкурвской академии, а потом отклонили столь лестное предложение быть избранной в члены Французской академии — честь, которую удостоивались всего три женщины за ее трехвековую историю. И всего одна писательница.

— Во-первых, мне не идет зеленый цвет (цвет мундира, который носят академики. — Ю. К.), — смеется Ф. Саган. — Во-вторых, я всегда опаздываю и тем самым могу задержать работу над словарем французского языка, над которым целыми десятилетиями трудятся наши «бессмертные». Наконец, я не люблю почестей — они утомляют своей бессмысленностью.

Франсуаза Саган, пожалуй, самая популярная французская писательница последних десятилетий. Каждый ее новый роман — это событие. И все-таки... Некоторые литературоведы утверждают, что она стала жертвой своего таланта и пока еще не сумела создать действительно выдающегося произведения.

«Ну, когда же это, наконец, сочини подлинный шедевр?!» Этот ужасный вопрос, пишет французский критик, писательница задает себе каждое утро.

Рыбья кровь

сейчас: зачем вы вернулись в Германию именно сейчас, когда вы достигли там, в США, вершин карьеры, когда весь мир недоумевает, почему вы все бросили и приехали сюда? Узнать это было моим долгом, господин фон Мекк, и, я полагаю, мне удалось его исполнить.

Константин взглянул ему в лицо.

— Ах, вот как! — усмехнулся он. — Вам известны причины моего приезда? А уверены ли вы в том, что они ведомы мне самому?

Геббельс залился смехом. То был тихий, отрывистый, как кашель, смех, приглушенный, ибо министр прикрыв рот ладонью.

— Если вам неведомы ваши собственные побуждения, господин фон Мекк, вы, быть может, окажете мне честь, позволив изложить их? Вы покинули Соединенные Штаты не из-за обиды или увлеченного самолюбия, как намекали некоторые газеты. Ваши мотивы имеют куда более глубокие корни, не так ли? Давайте же разберем! Вы покинули Германию в 1912 году, когда ваша матушка, русская по национальности, развелась с вашим отцом — немцем. Вам тогда было лет одиннадцать-двенадцать, верно?

— Именно так, — подтвердил, заинтересовавшись, Константин.

— А когда Германия в 1914 году объявила войну Франции, вы уже находились в Голливуде. Ваша мать вновь вышла замуж — за продюсера. Война уже шла полным ходом, но мать удержала вас в Америке; впрочем, тогда вы были еще действительно слишком молоды, чтобы воевать.

— Все точно.

— Война продолжалась, а для вас это время стало началом карьеры, не так ли? Вы уже заслужили репутацию хорошего ассистента среди режиссеров того времени. Вы вышли на прямую дорожку к успеху — и это в пятнадцать-то лет! Да, такое бывает только в Америке!

Константин молча кивнул.

— Вы не знали, что Германия обескровлена, что у нее не осталось больше солдат, что курсанты офицерских училищ от пятнадцати до семнадцати лет все поголовно мобилизованы и посланы на фронт...

Константин фон Мекк опустил голову, теперь он очень внимательно разглядывал свои руки.

— Да, — ответил он, — этого я не знал.

— В результате, когда в 1921 году вы вернулись в Германию, господин фон Мекк, и вам пришла в голову мысль навестить в свою старую школу в Эссене, вы обнаружили, что за время

— Я полагаю, что УФА строит относительно вас иные планы, — заметил Геббельс.

Константин выпрямился в своем кресле.

— Я и слышать не желаю об этих планах. УФА хочет заставить меня снимать «Еврейку», а это антисемитский фильм.

— Ну ладно, посмотрим. «Медведь» выйдет в Штатах весной через два... Может, я пока продусь, погляжу на родные места. В конце концов, я заслужил небольшой отпуск...

Геббельс медленно закурил, пристально глядя на Константина.

— Вам нужен вовсе не отпуск, господин фон Мекк. Представьте себе, я знаю, зачем вы сюда приехали.

И, смеив сухой тон на дружеский, Геббельс продолжил: — Господин фон Мекк, неужто вы не понимаете, что я наводил справки о вас с тех пор, как все газеты мира стали писать о вас на первой полосе? Неужто не понимаете, что и я спрашивал

вашего отсутствия все ваши товарищи погибли на фронте. Конечно, кое-кто был старше годами, но большинство — ваши ровесники, и ни один из них не захотел влечь жалкую жизнь побежденного. Вы поняли, господин фон Мекк, что из всего класса в живых остался вы один, если не считать некоего молодого человека — офицера с ампутированной ногой. Ибо вы ведь учились в знаменитой кадетской школе, не так ли, господин фон Мекк?

— Да, правда, — ответил Константин. Он стал шарить по карманам в поисках сигарет, долго долго вынимал и раскуривал ее, не поднимая глаз. Геббельс наблюдал за ним с нескрываемым удовольствием и, когда Константину удалось наконец закурить, продолжил ледяным тоном: — И этот офицер без ноги, ваш бывший соученик, называл вас трусом в эссенском кафе, при всем честном народе; он даже вызвал вас на дуэль. Вот тогда-то вы и поучествовали себя виноватым; в этот день вам стало ясно, что вы в долгу перед Германией, в настоящем долгу, ибо подобное оскорбление в тогданнем вашем возрасте — сознательное или несознательное, это уж другое дело, — не забывается. Я не ошибаюсь?

Константин курил, выпуская густые клубы дыма и по-прежнему не поднимая глаз. — Как вы узнали об этой истории? — спросил он трагически надломленным голосом, смутившим его самого.

— От одного из ваших преподавателей — он был свидетелем этой сцены. И потом, я всегда знаю все, господин фон Мекк, знаю из принципа, понимаете? Это мой принцип!

Константин вскинул глаза: Геббельс больше не улыбался.

— Все, что вы рассказали, чистая правда, господин министр, — признался он. — Я храню в памяти это происшествие, и оно толкает меня на странные поступки...

— Поздравляю вас с одним из таких поступков! — перебил его Геббельс пронзительным голосом — голосом оратора, совершенно неожиданным для такого худосочного дерганого недомерка. — Ибо они делают честь и вам, и всей Германии в целом!

Константин облебенно вздохнул: слава Богу, с 1921 года ему впервые напоминали об этом унижении — случае, конечно, неприятном, но вообще-то давним-давно позабытом. Разумеется, какое-то время его совесть терзало воспоминание о классной фотографии 1912 года, где были сняты Константин и его двенадцатилетние сверстники, чьи лица потом перечеркнули траурные кресты — все, кроме двух, его собственного и того обидчика, — но потом этот инцидент, как и прочие грустные события, улетучился из памяти: в конце концов он всего-навсого пренебрежимым средневекowym предрасудком, именуемым «долгом перед родиной», зато с тех пор множество раз имел возможность доказать, что он отнюдь не трус. Но тот факт, что Геббельс приписывал его возвращение значительности школьного воспоминания 1921 года, а не значительности гонора УФА в 1937 году, вполне устраивал Константина. До чего же все-таки

Константин молча кивнул.

— Вы не знали, что Германия обескровлена, что у нее не осталось больше солдат, что курсанты офицерских училищ от пятнадцати